

Анар ИЗДЕН ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО

Посвящается моей любимой бабушке Масаты

Дождь пошел ближе к вечеру. Я стояла у раскрытого окна и наблюдала, как умываются упрямые завитушки молодой яблони. В середине апреля жара внезапно накрыла Кызылорду, и едва пробившиеся листья деревьев скрутились от неожиданного зноя. Мимо меня, не скрывая недовольства, ползла брюхатая рыжая кошка. Когда капли застучали по тротуару сильнее, она неспешно устроилась у входа под навесом. Все вокруг успокаивало: окрепшие крокусы, смолистый аромат туи, оставленный соседским внуком разноцветный песочный набор. С каждой минутой дышалось легче. Небо со стороны мечети постепенно затягивалось зеленью. Нерешительно приближалась гроза, но, чуть погодя, лишь дважды сверкнув своими стрелами, сменила раздражение на покорное безучастие, позволив городу жить своей обычной повседневной жизнью.

Знакомый пейзаж укротил кошку: она мирно отдыхала, поглядывая на капли, стекающие с крыши на ступеньки, хотя только что спускалась и поднималась, встревоженная грохотом. Рыжая не издавала ни малейшего звука, лишь изредка вытягивалась и снова грузно опускалась на огромный живот. Видимо, решила не суетиться. Прошло больше получаса. Я устроилась на подоконнике с книжкой, чашкой чая и бутербродом, с половиной которого пришлось попрощаться сразу, как только непрошенная гостья стала водить носом, всматриваясь в мою сторону. Я бросила кусок колбасы прямо из окна. Кошка приблизилась к себе добычу, но, то ли от жары, то ли от бремени будущего материнства, есть не стала. Меня охватил страх: родильный дом у порога – затея весьма хлопотная, а лишняя морока была ни к чему.

Решив выпроводить незваную гостью, я направилась к выходу, но неожиданно застала рыжую дрянь припавшей к влажной земле. Она следила за ласточками и тщательно готовилась к прыжку. Уже не было той ленивой особи, несколько минут назад с отрешенным видом изучающей двор: передние лапы вытянулись, хвост приподнят, взгляд сосредоточен. «Брысь!» – крикнула я. Бесстыдница не собиралась сдаваться и продолжала преследовать птиц. Мне пришлось схватить палку и отогнать пузатую, пока та, тяжело передвигаясь и оглядываясь по сторонам, не скрылась в темноте подвала.

День угасал, наступали сумерки. Дойдя до дома, я увидела открытую настежь дверь. Из глубины комнаты слышался резкий и отрывистый свист. Маленькая ласточка, залетевшая в комнату в поиске спасения, кружила под потолком. Она то забивалась в угол, то приближалась к окну, и, ударяясь о жалюзи, издавала пронизывающе жуткие звуки. Мне с детства знаком этот противный свист и понятен смысл судорожного полета... Отворив окна и входную дверь, я вышла во двор, желая растерянной крохе скорее выбраться на свободу. У крыльца и поодаль отдельными кучками в смятении летали ласточки. Самые смелые приближались к дому, но, понимая, что не в силах освободить заложницу, безуспешно возвращались назад.

На город тихо опускалась ночь. Я стояла напротив крыльца, вглядываясь сквозь густеющий сумрак в открытый проем. До смерти напуганная птица после долгих трепыханий вдруг обнаружила выход и стрелой бросилась к

порогу. У самого края выступа она на долю секунды замерла. Почуввав запах теплой влаги, почти задевая крыльями мокрые ступени, уверенно рванула вперед. Затем поднялась выше, еще выше. Дружная стая мгновенно окружила пленницу и, прочертив ритуальный прощальный круг, улетела в сторону Аллеи Творцов, освещенной ярким светом уличных фонарей. Этот спонтанный танец, как напоминание о хрупкости мира и высокой цене человеческого поступка, тоже очень мне знаком.

В детстве наша семья жила в поселке Новоказалинск, в доме бабушки – родной тети мамы. Мама рано осиротела, и после смерти сестры бабушка взяла племянников на воспитание. Позднее мои родители построили в ее маленьком дворе теплую, светлую «временку» из трех комнат, где мы и теснились: бабушка, папа с мамой, я с сестрой. В те дни мир казался мне простым и радостным. Это было прекрасное время безусловного счастья, которое не нужно было искать или заслуживать. Оно хранилось в карманах старого, но опрятного, с выцветшим орнаментом камзола вместе с ирисками «Кис-Кис» и барбарисовыми леденцами, в кружке теплого молока с медом, в пиале сладкого толочка. Счастье каким-то удивительным образом неизменно ассоциировалось с бабушкой, с ее чуть шершавыми, но мягкими ладонями, тихим голосом, доброй улыбкой и светлым взглядом.

Бабушка... Никто и никогда не любил меня так трепетно и бережно... Ее звали Масаты. Она была крепкого телосложения и выглядела очень сильной. Видимо, сказывались годы тяжелой работы на комбинате по заготовке зерна. В середине сороковых дифтерия унесла из жизни ее троих детей. В память о них остались несколько снимков, прикрепленных к большому зеркалу, которые, по старинке, назывались «карточками». Существовал ритуал: бабушка заходила в комнату, снимала фотографию, наклеенную для прочности на кусок картона и обернутую в защитную пленку, долго рассматривала и целовала каждого ребенка. Мне совсем не нравилась эта церемония. Она забирала у меня женщину, от которой я ни на шаг не отходила... Которую я называла Мамой.

Разваливающийся дом был построен дедушкой Толеуом, за которого по закону аменгерства¹ бабушку выдали замуж через год после Победы. Так и не дождавшись вестей от первенца, ушедшего на фронт в октябре 1941 года в составе морской стрелковой бригады, свекровь перед смертью благословила любимую сноху и младшего сына, надеясь на продолжение рода. Но бабушке Масаты пришлось принять тяжелую правду: счастье материнства осталось для нее в прошлом. Узнав о сопернице, она молча собрала и выставила за калитку нехитрую котомку с личными вещами мужа, чтобы дать весельчаку и балагуру шанс познать отцовство. Несколько лет спустя бойкие соседки стыдливо прищипывали себе щеки, удивляясь невероятно иссиня-черным густым и длинным ресницам Толеуского сына, который, в отличие от других созерцательных и спокойных казахских малышей, на ровном месте вспыхивал как искра. Бабушкина болтливая подруга Куляш бесцеремонно вглядывалась в лицо мальчугана и кричала на всю улицу: «Ну, вылитый Абубакар!»

Речь шла о переселенце – вайнахе, работавшем «лайши» – мастером-глинобитом. Весной 1944 года Казалинская земля приняла более трех тысяч чеченских и ингушских семей, депортированных в Казахстан. Жизнь приезжих была наполнена суровыми испытаниями, но эти годы останутся в истории наших народов примером невероятного выживания и человеческой взаимопомощи. Чужеземцев селили в наспех вырытых землянках, сараях, свободных

¹ Аменгерство – традиционный брачный обычай, согласно которому овдовевшая женщина выходила замуж за ближайшего родственника покойного мужа, чаще всего за одного из его братьев.

углах местных жителей. Позже, по традиции «асар», казахи помогали возводить саманные мазанки из кирпича, выбитого на смеси глины, соломы и навоза. Только благодаря нестигаемому характеру, трудолюбию и поддержке казахской земли чеченцы и ингуши смогли пережить тяжелые годы ссылки.

Инфекция, привезенная в запертых вагонах, забитых до отказа больными сыпным тифом, унесла тысячи жизней в первые месяцы депортации. По окраинам Казалинска один за другим вырастали стихийные погосты – ряды холмиков, отмеченных деревянными колышками. В нескольких шагах от небольшого, заросшего джунглями кладбища, где под безымянными насыпями нашли свой последний приют больше сотни вайнахов, стоял дом моей бабушки. Здесь я появилась на свет, и это мрачное соседство стало частью моих воспоминаний.

Будучи избалованным, но по-своемумышленным ребенком, я постоянно терзалась странным вопросом: сколько на самом деле на небе лун? В моей детской логике мир был разграничен, и раздумья требовали постоянных проверок. Ночью я выставляла бабушку за старый с посеребренными планками деревянный забор, наглухо запирала калитку и громко спрашивала: «У тебя есть луна?» Получив утвердительный ответ, победно выдыхала: всё верно, на небе всегда их две – одна светит в нашем дворе, оберегая живых, а другая висит над кладбищем, освещая покой умерших.

Взрослые соседи, в отличие от меня, не искали в этом месте мистики и давно привыкли к старому погосту, ставшему частью будней. Огражденные колючей проволокой, могилы теснились между двумя широкими тропинками, ведущими к большой улице. Нередко можно было увидеть прохожих, опустившихся на корточки и шептавших молитвы за упокой тем, чьих имен они даже не знали. Но однажды мы стали свидетелями ужасного зрелища: взрослый мужчина – до сих пор помню его изможденное лицо, взобрался на полуразрушенное, осевшее захоронение и во всё горло, неистово пел. Вокруг мгновенно поднялся переполох. Любопытные соседи выбегали из дворов, пытаясь узнать, что происходит. Другие же, напротив, в тревоге шепча «бисмиллях», поспешно возвращались домой и запирали двери, желая защитить стены от звуков безумной песни. Испуганная, я бросилась к бабушке. Она спокойно обняла меня и тихо объяснила: «Доченька, иногда люди сходят с ума. Так бывает».

Я боялась Амантая, этого странного вечно обросшего человека, хотя потом он больше никогда не выглядел безумцем. Душераздирающая песня, как объяснила бабушка, посвящалась его умершей матери, Хатше, которую в округе одни называли «черной», другие – «белой». Мне до сих пор непонятно, какое имя: Акхатша или Карахатша было дано несчастной женщине при рождении. Говорят, в сорок четвертом, в ту же ночь, когда в скотном загоне их маленького двора соседская девчушка увидела молящихся чеченцев, ее мужа забрали в НКВД.

Дом со ставнями до войны принадлежал отцу моей бабушки Жумахмету и был продан деду Амантаю. Бабушка вспоминала, что в 1917 году во дворе вместе с серебряными монетами прадед закопал Коран, который прежде брали в хадж паломники, державшие долгий путь из Казалинска в священную Мекку. Ни денег, ни книги никто во дворе так и не нашел. Но местные атеисты упрямо твердили, что именно из-за спрятанного Корана дом занял «проклятую» репутацию: после визита военных Хатша стала бродить между могил, весело смеясь и распевая «Ах, Самара-городок!». Позади мамы с красными ленточками в руках плелся ничего не понимающий маленький Амантай. Говорили, правда, что таким образом женщина спасалась от тюрьмы...

Отца Амантая «сдал» сосед Тобай, родственник какого-то большого чиновника, участника «казалинского хлебного дела» 1944 года. Бабушка рас-

сказывала, что в первые месяцы переселения, для предотвращения голода среди вайнахов, государство создало продовольственный фонд. Благое дело завершилось скандалом: приехавшая из области ревизия вскрыла нецелевое использование помощи. По распоряжению нерадивого районного руководства тонна муки и крупы из специального склада была незаконно выдана партийному активу, а еще шесть тонн продуктов распределены среди местных жителей, не являвшихся переселенцами. Среди них была и многодетная семья Тобая, потерявшего в лихолетье родителей, жену и двоих детей.

Дед Амантая, до Октябрьской революции совершивший паломничество в Мекку и получивший статус «кажи», еще в период масштабной «безбожной пятилетки», когда советская власть запретила религиозные обряды, как и многие его соратники, придерживался концепции «такия», оправдывающей сокрытие молитвы. Особенно тяжело приходилось верующим в военные годы. Молиться запрещалось, за намаз расстреливали без следствия и суда, поэтому суры читались безмолвно, поклоны совершались едва заметным наклоном головы или движением глаз.

Шел сорок четвертый год. Во время фаджра², когда кажи «сидел» на скамейке у дома, до его чуткого уха донесся скрип жерновов. В соседнем дворе старшая дочь Тобая молола пшеницу. Семидесятилетний дед, у которого с коммунистами были свои счеты, не собирался доносить на мученика. Услышав от Тобая, напуганного столь ранним визитом кажи: «Это наш хлеб, разве казахские дети не голодают?», верующий лишь вздохнул: «Они ни у кого не просили горькой участи, Аллах рассудит». Тобай не забыл той «дерзости». Трусливый по натуре, он лишился покоя и при первой же возможности донес уполномоченному НКВД, что в соседнем доме устраиваются антисоветские религиозные сборища. Старик, потерявший последнюю опору в жизни и принявший разлуку как очередное испытание, до последнего вздоха смиренно благодарил Аллаха, именно этим был страшен. Особенно после возвращения и реабилитации сына и даже после своей смерти.

Никого, кроме Амантая, из героев этой печальной истории я не застала. Мы часто виделись с ним: в очереди за хлебом, у уличной колонки или во время утренних общих сборов, когда передавали скотину дежурному пастуху. Бабушка всегда отвечала на его радостное приветствие, останавливалась и беседовала, бережно, но упрямо сжимая мою ладошку в своей. Лишь после того, как мужчина удалялся, она принималась за мое лечение: мягко, но уверенно надавливала на живот при каждом выдохе, помогая вытолкнуть воздух и унять дрожь, и требовала: «Не бойся, дыши!»

Я не слышала от бабушки слов «любовь» или «чувство». Наверное, люди того времени научились глушить в себе избыточные эмоции, чтобы сохранить остаток душевных сил. Ее подруга бабушка Куляш нравилась мне тем, что в болтушке «говорило» всё: насупившиеся брови, упертые в бока руки, вытянутые в тонкую ниточку губы, широко распахнутые или суженные глаза, танцующие в воздухе ладони... Прежде чем начать разговор и выдохнуть «Эй, катын!»³, она подталкивала сидящую рядом собеседницу и весело смеялась. Любила подшучивать она и над моей бабушкой, вспоминая, как подруга подзывала к себе и подкармливала Толеуского сынка, каждый раз при этом прикрикивая: «Ну, вылитый Абубакар!» В ответ бабушка Масаты только молча улыбалась.

² Фаджр – обязательная утренняя молитва в исламе.

³ Катын – нейтральный синоним слов «женщина» или «жена».

* * *

Личные вещи бабушки хранились в старом доме – ветхой постройке, подпертой изнутри огромным бревном. В углу большого, сырого и темного помещения, когда-то служившего прихожей и кухней одновременно, стоял примус, на котором пеклись для меня вкуснейшие блинчики. По дому тогда плыл густой аромат поджаренного масла, смешанный с запахом ванили и влажной извести. Вторая комната была светлой и уютной. Помню ее в малейших деталях: ковер на стене с густым, еще не примятым ворсом, белые шкафчики с посудой, большой сундук, накрытый кружевной шалью. В центре – столик на низких ножках. Вокруг него лежали чистые, мягкие, расшитые узорами курак корпе⁴. В углу, напротив окна, высился массивный шифоньер с мутным зеркалом. На металлическом подносе красовались пузатый самовар и белоснежный заварник с ситечком на носике. Бабушка была рукодельницей: ткала, пряла, вязала и вышивала.

Иногда в летний зной или, наоборот, в снегопад мы доставали и развешивали содержимое сундука на бельевой веревке во дворе. Всё вокруг погружалось в стойкую вонь нафталина, сдобренную ароматом мыла и запахом табака. Это был удивительный мир красоты и роскоши: кроличий полушубок, нарядные платья, камзолы, лаковые лодочки, красный флакон духов, пахнущий сандалом и мускусом... Нежные ткани с веселой расцветкой со временем перекечевывали в большой ридикюль и дарились бабушкиным подругам, к которым мы отправлялись в гости.

Мы часто гостили и у сестры бабушки, Карашаш. Она жила в маленьком селе Камыстыбас, раскинувшемся на берегу одноименного озера. Дворик бабушки Карашаш нравился мне своей шумной и пестрой суетой, вечным начинщиком которой был петух Ибан, названный в честь старьевщика Ивана, приезжавшего в аул на старой телеге из города Аральска. В любое время суток здесь вдруг можно было услышать зычный голос русского хламовщика: «Ал-тизахеен!», «Ножииниии точууу!» или на казахский лад: «Шарааа-барааа!» Петух был также голосист и неразборчив в часах, его звонкий голос не умолкал ни днем, ни ночью, нарушая покой соседей, за что бабушка Карашаш каждый раз обещала свернуть ему шею. Особенно Ибан не признавал важности индюка Базаркома. Даже в те редкие моменты, когда в ответ на его бесконечные нападки Базарком раздувался до размеров небольшого облака и издавал гневный хлопок, драчун со всего размаха впивался клювом в покрасневший нарост на индюшьем носу. Бандит снисходительно дожидался, пока бедняга трусливо спрячется за сараем и, повернув голову в сторону курятника, разражался победным криком.

Об озере Камбаш, как называют его в народе, сложено много преданий. Старики рассказывали: в давние времена, когда Аральское море было настолько бескрайним, что чайки теряли силы, пытаясь перелететь с одного берега на другой, у седого Арала подрастал любимый младший сын, глубокий, полноводный залив. В зарослях его камыша находили приют перелетные птицы, а нежный песок сверкал под солнцем золотой россыпью. В зеркале воды отражалось великое синее небо, стирая грань между земной лазурью и бесконечным сводом. Море-Отец вложило в него всю душу, обратив залив в самое благодатное место в округе. Но пришли грозные дни. Духи пустыни позавидовали величию Арала и начали красть его богатство. Вода стала мучительно отступать, обнажая соленое дно. Старики плакали, видя, как уходит жизнь, но, когда озеро начало отделяться от умирающего отца, случилось чудо.

⁴ Курак корпе – традиционное казахское лоскутное одеяло или матрас.

Легенда гласит, в ту пору недалеко от моря жил шаман, сказитель и создатель кобыза Коркыт Ата. Мудрец обошел четыре стороны света в поисках бессмертия. Услышав о боли народа, на верблюдице Желмая он вернулся в родные края и отвоевал озеро у забвения в тот трудный час, когда злая старуха с косою уже праздновала победу. Старец расстелил ковер прямо на поверхности залива и заиграл на кобызе. Всё в природе замерло, вслушиваясь в ритм струн. Музыка Коркыт Ата была настолько сильной и трогательной, что подземные реки, текущие глубоко под песками, услышали зов кобыза и мгновенно устремились вверх. Арал почти исчез, но Камбаш выжил. Помню, как бабушка Масаты, щурясь от солнца, поведала тайну, скрытую в названии озера. Слово «кам» с языка предков переводится «шаман», а «баш» – «голова». «Если в предзакатный час замереть в прибрежных зарослях и долго наблюдать, можно увидеть высокий колпак Деда Коркыта и услышать звуки кобыза, победившие смерть», – говорила она шепотом.

Не забуду, с каким восторгом бабушка пересказывала мне этот древний сюжет. С годами приезжать и любоваться озером, которое помнит меня ребенком и хранит память о любимом человеке, стало доброй семейной традицией. Каждый раз я усердно всматриваюсь в линию горизонта, в надежде издали, между небом и землей, разглядеть знакомый силуэт в белом платке. Вспоминаю, как бабушка аккуратно снимала с меня сандалии и гольфы. Как, взявшись за руки, мы шагали по горячему песку, сидели, окунув ноги в прохладную воду, пили из солдатской фляги холодный айран. Каждый раз я прошу озеро помочь восстановить обрывки воспоминаний, чтобы собрать счастливые мгновения, подаренные великой женщиной, в одну большую красочную мозаику вечных смыслов и ценностей, помогающих человеческой душе жить благо-родно.

Камбаш и сейчас полон рыбы, вода озера прохладна и чиста. Всё чаще современники связывают название водоема с густорастущим камышом, забываются сказания, стираются из памяти лица и имена. Уверена, когда-нибудь историю о победном вмешательстве великого Коркыт Ата в судьбу родных мне мест я передам внукам, а они расскажут легенду своим детям. И кто-то из моих потомков так же сбросит мокасины, сядет на песок и будет всматриваться в даль, а после объяснит причину слёз соленым ветром или бесконечно розовым закатом...

Утро в Камыстыбас начиналось с особого ритуала: расчесывания волос и плетения кос. У бабушки Масаты были две жидкие серо-белые косички, она укладывала их вокруг головы в своеобразный серебряный венок. Бабушка Карашаш носила длинные косы, заправленные в пояс платя, поверх которого надевала тяжелый камзол. В утреннем расчесывании не было суеты. На краешек несобранной постели стелились плотные шали, доставались деревянные гребешки. Это было сродни тихой молитве: две женщины, рано овдовев и лишившись простых прелестей бабьей доли, упрямо продолжали хранить остатки былой красоты. Они плели тугие косы, «на крепкую жизнь», искренне боясь, что выбившиеся из-под платка волосы откроют беззащитную душу любому встречному ветру, как доброму, так и лихому. «Помни, – говорила мне бабушка и весело качала головой, когда я касалась холодных монет в ее волосах, – пока косы поют, женщина под защитой Всевышнего!»

У бабушки Масаты была своя, особая связь с богом. Перед сном и едва проснувшись, она разговаривала с Аллахом так же просто и доверительно, как со мной, как со всеми, с кем встречалась и беседовала. Укачивая меня на ногах, поправляя подол платя или вытирая платком мое лицо, она всё время повторяла: «Всевышний, я доверяю Тебе свою девочку!» Бабушка не читала

намаз. Причин тому я не знаю, но догадываюсь, – сказала прошлая общественная нагрузка партийного организатора «Заготзерно» – атеизм в те годы был крепче любых канонов. Бабушка Масаты часто тревожилась, что после смерти, именно из-за несоблюдения положенных ритуалов, ей будет отказано в укрытии ног.

Бабушка Карашаш, напротив, строго и беспрекословно была верна религиозным традициям, совершая намаз пять раз в день. Она всюду успевала: занималась хозяйством, под тяжелым казаном на углях пекла хлеб, сбивала масло, жарила пшено. Вечерами две бабушки пряли или, что было самым захватывающим событием, красили нитки и ткали ковры алаша. Такого распорядка придерживались практически все женщины аула. Иногда они собирались на асар, чтобы научить молодых снох шитью или вязанию, много пели и смеялись, угощали друг друга незатейливыми сладостями и непременно проклинали войну. Слово «согыс»⁵ запрещалось из страха возвращения событий. Оно заменялось по-разному, даже когда мастерицы тихо произносили «киын күндер» – «трудные дни», машинально прикладывали пальцы к губам, чтобы ненароком не накликать беду. Таков был закон – полагалось следить за языком, а для обсуждения чего-либо опасного или сомнительного придумывались осторожные фразы, воспитывающие самообладание и выдержку.

У бабушки Карашаш был дополнительный «бизнес»: она выращивала подсолнухи, жарила и продавала семечки. Покупателей было достаточно. Иногда из Аральска приезжал дядя Базарком, тот самый, в честь кого прозвали лохматого и толстого индюка, недруга хулигана Ибана. Базарком-коке, облокотившись о подушку, долго пил чай, съедал все лепешки и, вытирая жирные руки о бока, перелистывал тетрадку. Ловко передвигая косточки на счетах, что-то записывал. Затем из кармана огромных брюк доставал кошелек с маленькими металлическими бусинками-застежками и бережно вынимал купюры и монеты. Во дворе, под тенью карагача, окруженный детворой, стоял его новенький трехколесный мотоцикл, в люльку которого укладывались баулы с семечками. Бабушка Карашаш никогда не упоминала настоящего имени «оптовика», ласково называя «Базарком кайным»⁶. После каждого такого визита она утирала краем платка скупые слезы: уж очень он похож на без вести пропавшего на войне мужа.

В углу прихожей находилась табуретка с большим мешком жареных семечек и гранеными стаканами внутри: большим и маленьким. Рядом лежала стопка газетных кулчков, аккуратно придавленная бидоном. Когда бабушки были заняты, торговля доверялась мне. «Мои» деньги хранились в отдельном выдвижном ящике, и вечером «касса сдавалась». Обычно бабушка Карашаш щедро платила мне за работу. Но бабушка Масаты строго следила за порядком и предупреждала: продавать семечки разрешается только с личного согласия хозяйки, а отчитываться нужно за каждую копейку.

Однажды, когда бабушка Карашаш ушла в свою комнату на вечерний намаз, а моя бабушка доила коров, заглянул долгожданный покупатель. В ожидании завершения ритуала мужчина сел у порога и подкармливал Ибана, имевшего привычку безнаказанно гулять даже в гостиной. Странности петуха были известны всему аулу. Меня, впрочем, он не трогал: как-то бабушка Масаты пригрозила дебоширу топором, и с тех пор в его птичьей голове срабатывал сигнал оповещения, мгновенно умиряющий боевой задор. Заметив длинный синий в черный горошек подол платья, дебошир включал режим невидимости, молнией отлетал в сторону и зарывался в самую гущу всполошенных кур.

⁵ Согыс – война.

⁶ Кайны – младший брат мужа.

Ибан с удовольствием сторожил хозяйство и отлично заменял старого доброго пса Актоса, истощно докладывая о любом, кто останавливался возле забора. Стоило кому-нибудь ступить во двор без сопровождения домочадцев, как петух превращался в самого настоящего зверя. Он бросался в драку и гнал чужака до самого крыльца. Актос никогда не отличался таким рвением, лениво подавая голос, когда хозяйка выходила навстречу гостям.

Увидев в ладони соседа двадцатикопеечную монету, я несколько раз забегала в комнату, чтобы получить разрешение на «отпуск товара». Бабушка Карашаш полностью погрузилась в общение с Аллахом и не обращала внимания ни на меня, ни на Ибана, который с видом полноправного хозяина вышагивал по комнате, изучая старую кошму. Мне было известно, что перед намазом набожная бабушка снимала чулки и белье, панически боясь совершать молитву недостаточно чистой. Долгое ожидание утомило и разозлило меня. Когда молящаяся в очередной раз опустилась в земном поклоне – сажде, я приблизилась и бесцеремонно натянула подол платья ей на голову. Как назло, триумфальный момент протеста был поддержан оглушительно-торжественным криком Ибана. Женщина проявила стоическое терпение и, не шелохнувшись, дошептала молитву до конца, но после этого последовала расплата за содеянное.

Обычно невозмутимая бабушка Карашаш долго отчитывала за халатность и нерадивость в воспитании ребенка еле сдерживающую смех сестру. Нам обеим было приказано молчать: никто в ауле не должен узнать о случившемся. Мне запретили подходить к заветному мешку, а ошеломленного несправедливостью петуха заперли в собачьей будке. «Ну и ладно, зато бог увидел твою попу!» – торжественно шипела я, болтая ногами и восседая на весело подрагивающей спине своей защитницы. Соседа, в шоке выбежавшего со двора, проинструктировать не успели, поэтому уже через полчаса, когда бабушка Карашаш яростно стучала молотком, прибивая щеколду, у высокого забора, под предлогом соли, сахара и семечек, посмотреть на озорницу и убедиться в достоверности слухов собирались сплетницы и ротозеи.

Ночью, когда дом погрузился в тишину, бабушка Масаты, укрывая меня мягким одеялом, наставляла: «Запомни, доченька, нельзя мешать человеку беседовать с Аллахом». У нее была особая связь со Всевышним. Она могла договориться обо всем: чтобы дождь подождал, пока добежим до магазина, чтобы выздоровела старая коза, грустные глаза которой каждый вечер мы протирали пенициллином, чтобы проводник скорого поезда предоставил в наше распоряжение рабочее купе. Но однажды по моей вине Всевышний на нее обиделся. Мне тогда было шесть лет.

В сенях бабушкиного дома, под потолком, на самом верху бревна, подпирающего старую постройку, еще до моего рождения ласточки свили уютное гнездышко. Только из-за него бабушка препятствовала сносу ветхого строения. Каждую весну она обещала: если птицы не вернуться, начнем строительство нового жилья. Но ласточки прилетали в родное гнездо и продолжали делить с нами кров. Всё лето тяжелая дверь закрывалась лишь после возвращения «квартирантов» на ночлег. Утром первым делом бабушка Масаты выпускала птиц на свободу, только затем шла готовить завтрак.

Однажды в гнезде появились птенцы. Они были удивительно маленькими и милыми, их крошечные клювики высовывались наружу, ласточка-мама накрывала детенышей крыльями, боясь сглаза. В такие минуты бабушка выводила меня из сеней, не разрешала шуметь и даже отобрала свистульку, которую мы выменяли у старьевщика Ивана на солдатский ремень. Нежность и незащищенность птенцов поражала мое воображение. Мне хотелось знать, как они растут, как общаются, о чем разговаривают и скучают ли по родителям. Желая познакомиться поближе, я решила вызволять птенцов из укрытия при

помощи длинной рейки, взбиралась на стул и подносила шест к гнезду. Глупые малыши, ожидая маминых угощений, смешно открывали ротик.

Не знаю почему, но бабушка «проглядела» мое «изобретение». Очередная шалость закончилась трагедией: не услышав писка, я упрямо дергала рейкой по воздуху, пока не ткнула гвоздем в гнездо, которое, пролетев мимо меня, упало на пол и тотчас разбилось. Птенцов в нем не было. Дрожа от страха, я побежала к бабушке. Поняв, что произошло что-то ужасное, она медленно встала, поправила подол платья, натянула платок, вытерла мне слёзы, и, взяв за руку, уверенно пошла к своему дому. Я никогда не видела бабушку Масаты такой настороженной.

Увидев разбитое гнездо, она молча и медленно упала на колени. Безмолвный ступор сменился сначала глухим всхлипыванием, затем, после горького осознания произошедшего, бессильный надрывный стон перерос в отчаянные рыдания. Бабушка что-то говорила, будто пела сквозь слезы. Из безудержного потока слов мной различалось лишь протяжное «ойбай».

Впервые «ойбай» я услышала прошлым летом, когда через низкую деревянную перегородку наблюдала за неразберихой в соседнем дворе: мужчины пронесли носилки, обернутые в парчу, а женщины, обнявшись, плакали и громко пели. Позже бабушка объяснила, что песней – жоктау оплакивают умерших. В тот же вечер, наткнувшись на неживого воробышка, впечатленная услышанным, я решила устроить птенчику достойное прощание и заголосила, распевая «ойбай» на манер плакальщиц. Бабушка молча дождалась, пока красно-желтая лопатка выровняет песочный холмик, подняла меня с земли, умыла, вытерла лицо подолом и, чего я совершенно не ожидала, посадила на перевернутую кадуюшку.

Это было единственным придуманным для меня наказанием: нельзя вставать, играть и даже разговаривать. Увы, раз в неделю я обязательно оказывалась на своем «посту», бабушка четкими, пугающе спокойными движениями заводила будильник, ставила его рядом со мной и уходила по делам. Самостоятельно слезть было невозможно, ноги беспомощно болтались, не доставая до земли, а правила были железными. Стоило мне издать хоть звук или попытаться сползти, как невидимый счетчик обнулялся: бабушка молча возвращалась к часам и безжалостно накручивала стрелку на дополнительное время. Минуты тянулись бесконечно, в ожидании спасительного звонка я успокаивалась тем, что увлеченно выдергивала бахрому из старого покрывала, постеленного на кадуюшку для моего же удобства. Было непонятно, почему нельзя играть в похороны.

И вот теперь страшная песня звучала в нашем доме: бабушка, упав на колени и прижавшись лицом к холодному битуму, безутешно оплакивала разрушенное ласточкино гнездо. Она рыдала навзрыд, как плачут от глубокого, внезапного горя:

– Всевышний, не трогай мою девочку! Я виновата, прости, не усмотрела! Не наказывай ребенка, возьми меня!

Сбитая с толку просьбой о моей пощаде, я растерянно замерла. До определенного момента понимающая и принимающая неизбежность ответственности за хулиганство, я была готова к обычному понятному наказанию и могла хоть сейчас отправиться на ненавистную кадуюшку. Но, услышав о возможной каре со стороны Всевышнего, испугалась по-настоящему. Идея божьего вмешательства мне совершенно не нравилась.

Как-то на мой наивный вопрос: «Кого ты любишь больше – меня или Аллаха?», бабушка ответила: «Сначала я люблю Аллаха, который сотворил тебя ради меня». Далекий, создавший меня утешением для несчастной женщины, добрый и грозный бог, которого бабушка любила больше всех на свете, с чьим

именем она засыпала и просыпалась, чьего прощения просила даже за прокисшее молоко, мог вмешаться в нашу жизнь из-за какого-то разбитого гнезда! Суть внезапного горя оставалась загадкой, а столь отчаянная реакция пугала. Наивно надеясь, что высшего суда и сурового наказания еще можно избежать, я прижалась к ней и тихо прошептала: «Мама, давай скажем Аллаху, что это сделали соседские дети!» Мне искренне верилось, что настигшую нас, как оказалось, огромную беду можно легко исправить простой выдумкой.

Вечером вернулись ласточки. Они кружили под самым потолком веранды, издавая противный, резкий и отрывистый свист. Только завтра бабушка объяснит, что птицы безутешно плакали. А сейчас она снова опускается на колени: подняв руки к небу, в слезах просит прощения, обреченным взглядом провожая пернатых, в последний раз облетающих родные стены. Весть о беде мгновенно разнеслась по всей округе. К разбитому гнезду, желая лично удостовериться в случившемся, стали слетаться другие ласточки. С каждой минутой их становилось всё больше, пока веранду не заполнила целая туча встревоженных птиц. Наверное, они прибыли сюда, чтобы воочию увидеть грустную картину. Стая петляла в тесном пространстве, то и дело возвращая в свой круг изгнанников, с истощным визгом метавшихся из угла в угол. После долгого скорбного обряда птицы сделали символический прощальный круг и покинули нас. Последними улетели две измученные ласточки. Наверное, именно ими от далеких предков была унаследована эта, с ароматом свежего хлеба, смешанным с запахом чадающего примуса, обитель – доживающий свой нелегкий век дом, подпертый огромной балкой, у подножия которой, нежно прижимая меня к открытой груди, в безмолвном отчаянии сидела бабушка Масаты. Той ночью она даже не разделась, рухнула на постель в своем строгом черном пиджаке и проплакала до самого рассвета. Ровно через год врачи обнаружили у нее онкологию. Я училась во втором классе, когда не стало бабушки, которую я называла Мамой, женщины, вкус молока которой я не забуду никогда.

На следующий год птицы не прилетели...

«Доченька, когда меня не будет рядом, это не значит, что я исчезла, – тихо говорила она, – через сорок дней после похорон посмотри на небо, ты увидишь самую яркую звезду. Знай, что это я. Я всегда буду рядом». В последние минуты ее жизни мне позволили зайти к бабушке. Маленькая, незащищенная, она тщетно пыталась взять мою руку в свою ладонь. Я положила голову на подушку, далеким, незнакомым чувством понимая, что слёзы и какие-либо уговоры уже бессмысленны. Бабушка показала на край корпе, где спрятала для меня вязальные спицы с забавными хвостиками. Это были простые самодельные железные пруты. Мы вместе смастерили их в Камбаше. Чтобы петли не соскальзывали, Базарком-коке насадил на проволоку белые и красные пуговицы и умело загнул концы плоскогубцами. Я не помню своих слёз тогда и после того, как в соседней комнате глухо отозвался последний вздох. Негромкий, но густой, он вырвался вместе с коротким, до боли знакомым: «Ал-ла-ах», как обычно она реагировала на любую житейскую пакость вроде забежавшей кошки или внезапного дождя. Смерть оказалась для нее лишь очередной досадной неожиданностью, оплошностью, заставившей посетовать перед тем, как уйти. Даже в последнем бабушкином вздохе не было страха и недовольства, лишь недоумение перед нарушившим ее планы Всевышним, которого она любила больше меня...

После похорон в маленьком календаре каждое утро красным стержнем я зачеркивала числа. Ни на сороковой, ни на сорок первый, ни на сорок пятый день обещанная звезда так и не зажглась. Невыносимая боль осознанной взрослой грусти и одиночества душила меня. Рядом были мама, папа, сестра, и сейчас не вспомню, почему я не нуждалась в их понимании. Наверное, мое

горе было слишком личным, принадлежавшим только мне одной. Приходилось играть роль веселого и беззаботного ребенка, но за порогом дома, в школе я часто взрывалась слезами из-за любого пустяка, выпуская наружу изматывающую изнутри тяжесть.

Чудо случилось ближе к Новому году: высоко в небе одинокая яркая-яркая точка стала подмигивать маленькой девочке сквозь зимнюю синеву. Я выбежала во двор и, не замечая холода, жадно всматривалась ввысь. Моя звезда! Сердце заколотилось от восторга, а на глаза навернулись совсем другие слёзы: теплые, добрые и радостные. Бабушка, зная, как сильно «дочь» боится темноты, сдержала слово и светила из своего нового далекого неземного дома.

Бабушка Масаты снится редко. В разгар пандемии коронавируса, когда я оказалась на волосок от гибели и металась в тяжелом, беспамятном жару, в предрассветный час она пришла ко мне. Мы стояли по обе стороны старого разваливающегося моста над бурной рекой. В желтом, в мелкий цветочек, платье с фартучным карманом в виде ромашки, я рванулась вперед, желая перебежать бревенчатую переправу, обнять ее, расцеловать родное лицо и теплые руки. Но бабушка строго покачала головой и судорожно задержала в воздухе белым платком, приказывая стоять на месте.

– Уходи! Назад, назад, уходи! – кричала она, не позволяя мне ступить даже на кромку моста. В холодном поту я проснулась от бабушкиного голоса. Легкие в тот момент казались огромными пустыми кавернами, не поддающимися обычному ритму дыхания. Внутри свистел сдувающийся резиновый шарик. Пойманный в ловушку больных бронхов глоток воздуха отчаянно пытался выбраться наружу сквозь противный, издевательски тонкий спазм.

Проваливаясь в сон, я опять бежала к мосту. Бабушка Масаты снова и снова из ниоткуда появлялась на противоположном берегу и повторяла: «Не бойся, дыши! Не бойся, дыши!» Вдоль моста, пританцовывая, в грязной майке и газетной панамке бегал Амантай, хрипло напевая веселую песню. В какой-то момент, боясь упустить родной образ из виду и одновременно испытывая страх перед безумцем, я – сама от себя не ожидая – начала ему подпевать. В два голоса мы пели о совином пере на голове красавицы Камажай⁷ и как разлука с ней стала причиной смеха друзей и недругов. Постепенно мужской хрип стих, растворяясь в тумане сновидения, и в предутренней тишине остался слышен только мой собственный дрожащий голос: «Ахау, хай-ли-ли-ляйым-Камажай!»

Странная это все-таки штука – душа... Время безжалостно стирает даты, имена, родные и чужие лица, но в тебе продолжает функционировать нечто, похожее на сверхъёмкий чип. Необъяснимо сложный и простой одновременно, он хранит и возвращает запахи, звуки и прикосновения. Интонации, жесты, привычки любимого человека становятся неотделимой частью тебя, встраиваются в твой образ жизни и определяют твою судьбу. Мне кажется, автономная и несокрушимая архитектура души устроена так, что большую часть пространства она предоставляет под хранение одной-единственной константы – великой силы безусловной любви.

* * *

В любую дальнюю дорогу неизменно я беру с собой три колокольчика, перевязанные обычным обувным шнурком. В далеком 1945 году внук камбашского баксы, узнав о страшном горе бабушки, расплел медные бубенчики из гривы своего скакуна и передал их осиротевшей женщине, чтоб чудесный звон напоминал смех малышей. Бабушка рассказывала, что эти подвески когда-то были изготовлены ее отцом – кузнецом. Такие украшения нанизывались на

⁷ Камажай – казахская народная песня.

шаманские бубны и посохи дервишей, большая часть которых была уничтожена сельчанами из страха перед преследованиями советской власти. Позже эти колокольчики звенели над моей люлькой. Теперь, когда сыновья выросли, а их колыбель в ожидании новых карапузов отправлена на антресоль, звонкие обереги всегда путешествуют со мной. Так они оказались со мной в Тунисе.

Изучая развалины Карфагена, я увидела, как под потолком небольшого современной постройки музея пунических портов, возле установленной видеокамеры над макетом Котона, ласточка охраняет крошечное гнездо. Именно сейчас, среди пальм и мандариновых деревьев, на тунисском берегу Средиземного моря, куда я отчаянно сбежала в надежде сделать передышку и хотя бы на время убрать из памяти события последнего года: больничный запах, прощание с отцом, тихое страдание мамы, несправедливость чиновников, беззащитность много лет назад созданного мной приюта, мне меньше всего хотелось возвращаться в то детское воспоминание.

Две недели назад на крыльце собственного дома, наблюдая за кружением взволнованных птиц и возвращением спасенной ласточки в стаю, я уже достаточно честила и истязала себя упреками за детскую шалость и бабушкины слёзы. Сил в очередной раз признаваться в собственной никчемности и безысходности у меня не осталось. Я достала из кармана колокольчики и начала судорожно трясти медью, чтобы утихомирить боль, накатывающуюся откуда-то, из непонятной дали, в которой, как в дырявой кадучке, накрытой лохматым одеялом, смешались грусть, одиночество, любовь, обычное человеческое счастье, задавленное грузом тревог и переживаний. Две женщины удивленно смотрели на меня, молодой паренек навел камеру смартфона, желая запечатлеть эту странную картину: плачущая женщина звонит в колокольчики. Я стояла, зажмурившись, пытаюсь полностью раствориться в этом чудесном звоне, но внезапный, удивленный, радостный и тихий возглас вернул меня в реальность. В то же мгновение я почувствовала, как будто что-то сзади дернуло за волосы. Сделав над головой круг, ласточка села на мое плечо. Так много человеку дано, так много нужно пережить, чтобы почувствовать себя прощенным вдали от родного дома, среди руин древнего города, который разрушался и вновь возрождался из пепла.

В отель вернулась поздно. Чемодан был собран, и после ужина я решила попрощаться с морем. К песчаному берегу, к белоснежным шатрам и пляжным лежакам вела брусчатка вдоль серого деревянного забора. «На той стороне есть луна?» – крикнула я высокому веселому аниматору. Ничего не понимающий мужчина пожал плечами и певуче ответил: «Новорожденный месяц особенно красив».

Рассматривая синюю Средиземную даль, я вспоминала бабушку Масаты: на берегу озера Камбаш она впервые рассказала мне о море. Сквозь густоту ночи я вглядывалась в иную картину, счастливый сюжет детства, и вспоминала, как бабушка в длинной белой сорочке заходила в воду. Затем, взявшись за руки, мы с ней, звеня шолпами⁸, весело танцевали. Как, обнявшись, сидели и смотрели на уставшее солнце, теряющееся за линией горизонта. Как наблюдали за толстой луной, грузно падающей на водное зеркало. И никого счастливее нас в мире не было...

1998–2026 гг.

⁸ Шолпы – традиционное казахское женское украшение, обычно это массивные серебряные подвески с монетами, драгоценными камнями или бляхами, которые вплетаются в косы и звенят при ходьбе.